

**Гайдар Аркадий Петрович**  
**Обыкновенная биография**

Аркадий Гайдар  
Обыкновенная биография  
КНИГА ВТОРАЯ\*

---

\* Первой книгой А.П.Гайдар считал свою повесть "Школа".

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В Воронежском военном госпитале я пролежал три недели. Рана еще не совсем зажила, но за последние дни прибывало много [раненых]\* шахтеров с линии Миллерово - Луганск - Дебальцево. Мест не хватало. Мне выдали пару новых, пахнущих свежей сосною костылей, отпускной билет и проездной литер на родину, [в городок Арзамас].

---

\* Слова, зачеркнутые Гайдаром, печатаются в квадратных скобках.

Я надел новую гимнастерку, брюки, шинель, полученные взамен прежних рваных и запачканных кровью, - и подошел к позолоченному полинялому зеркалу [стоявшему в углу приемной].

Я увидел высокого, крепкого мальчугана в серой солдатской папахе самого себя с обветренным похудевшим лицом и серьезными, но всегда веселыми глазами.

[И узнавал я в себе и не узнавал того озорного четырнадцатилетнего мальчугана, который полтора года тому назад убежал из школы.]

Полтора года прошло с тех пор [когда, обозлившись, из отцовского маузера всадил я в паркетный пол школы пулю]. И когда, испугавшись, убежал я из нашего города Арзамаса.

С тех пор прошло многое: Октябрь, Боевая дружина сормовских рабочих, Особый революционный отряд, фронт, плен, гибель Чубука, прием в партию, пуля под Новохоперском и госпиталь.

Я отвернулся от странного зеркала и почувствовал, как легкое волнение покачивает и слегка кружит мою только что поднявшуюся с госпитальной подушки голову.

Тогда я подпоясался. Сунул за пояс тот самый, давнишний маузер, из-за которого было столько беды в школьные годы, и, притопывая белыми, свежими костылями, пошел потихоньку на вокзал. Там спросил я у коменданта, когда идет первый поезд на Москву.

Охрипший суровый комендант грубо ответил мне, что на Москву сегодня поезда нет, но к вечеру пройдет на Восточный фронт санитарный порожняк, который довезет меня до самого Арзамаса.

И еще сердитый комендант дал мне записку на продпункт, чтобы выдали мне хлеб, сахар, селедку и махорку в двойном раз-

мере - как отпускнуку-раненому.

Хлеб, сахар и селедку я положил в вещевой мешок, а махорку отдал на вокзале одному товарищу, который был еще раньше ранен и теперь опять возвращался на фронт.

Около года я не получал писем от матери. Сам я написал ей за это время два или три коротеньких письма, но адреса своего сообщить ей не мог, потому что в то время полевых почтовых контор еще не было, да если бы и были, то и это не помогло бы, потому что орудовал наш маленький отряд больше по тылам сначала у немцев, потом у гайдамаков и у белых.

А из госпиталя, из Воронежа, я не писал нарочно - чувствовал, что мать, узнав о моей ране, только без толку расплачется и разволнуется.

Санитарный порожняк торопился на восток, где в это время шли крепкие бои с Колчаком. Уплывали одна за другою станции, чужие, незнакомые, но все так похожие одна на другую - забитые, грязные, кричащие, звенящие, лязгающие оружием, расцветченные красными флагами и плакатами.

Мелькнет вокзал, красноармейцы, выстроившиеся с котелками возле дымящейся походной кухни.

Дернет за сердце прорвавшийся через грохот колес напев гармоника, дунет морозный ветер - запахом дыма, сена, лошадиного навоза и карболки.

Врежется в память посиневшее лицо рабочего-дружинника, опоясанного пулеметной лентой на вылинялой кожаной тужурке, отягощенной брезентовым патронташем.

Улыбнется и махнет рукой женщина, вероятно, работница. Да и какая там женщина - просто веселая девчонка с наганом у кожаного пояса.

И опять дальше поле, а в поле за сугробами далекие дороги и далекие деревни, села, и в каждой деревне свой Деникин, в каждом селе свой Колчак, свои красные, своя ненависть и борьба.

Поезд прорвался за Муром, и вместе с ударами станционных колоколов сразу зазвучали имена станций, разъездов, полустанков, давно знакомых еще по детству, по школе, по семье... Мунтолово, Балахониха, Костылиха...

Давно ли? Нет, впрочем, давно, очень-очень давно - года четыре или лет пять назад отец взял меня с собой в Костылиху, куда ездил в гости к тамошнему учителю Федору Матвеевичу... Там мы спали на сеновале, потом пили чай с крыжовником, потом мы ходили купаться, и когда шли назад, отец и учитель и еще две какие-то хорошие женщины, то все они пели песню, которую я силился сейчас вспомнить, но никак не мог.

Отец гудел басом, как церковный колокол. А одна из хороших женщин, та, которую звали Маруся, пела так звонко-звонко, что я схватил ее за руку и так прошел с нею всю дорогу - тихонько и молча.

Потом, когда уже дома я рассказывал об этом матери, мама сказала мне, что эта Маруся нехорошая женщина, и заплакала... И когда отец стал успокаивать мать и стал говорить, что он и сам не находит в Марусе ничего хорошего, то и тогда я остался при своем убеждении, что эта Маруся все-таки хорошая.

Поезд прорвался мимо полустанка Слезевка. Впереди мелькнули бесчисленные церкви и монастыри Арзамаса, они росли, вырисовываясь все ярче, ярче... так что я теперь мог уже различить и [широкую] гору собора, и тонкую, как мечеть, колокольню Благовещенской церкви, и даже старую пожарную каланчу.

Тогда поезд завернул влево и ушел в лес, в тот самый детский лес, в котором мне были знакомы каждый бугорок, каждая поляна и каждая ложбина.

Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Передо мною стояла красная сестра с поезда.

- Приехали, - мягко сказала она. - Сойдешь, постарайся найти лошадь. А если не найдешь, то иди потихоньку и чаще отдыхай.

- Хорошо, - ответил я, - я потихонечку. - А сам о поспешности, какую только позволяли мне мои костыли, затопал к дверям останавливающегося вагона.

Извозчиков не было. Стояло несколько подводчиков, приехавших за грузом на станцию. Я задумался. До города было километра четыре - сначала полем, потом через овраг, потом через перелесок. Такой длинный путь с моей простреленной ногой мне было пройти нелегко. Но делать было нечего. Я поправил вещевого мешок за плечами и пошел по гладкой, накатанной дороге. Я шел потихоньку, а мне хотелось бежать. Но когда я пробовал ускорить ход, костыли начинали скользить по обледенелым колеям или проваливаться в снег, а нога начинала неметь и ныть.

- Э-эй! - услышал вдруг я позади себя окрик.

Я хотел посторониться Но посторониться было некуда, потому что я был в ложбине, занесенной снегом, где только-только могла проехать одна лошадь. А в сугроб свернуть мне было нельзя...

- Эй, - окликнули меня опять сзади. - Дай дорогу!

Тогда я рассерженно обернулся и, опираясь на костыли, встал поперек пути.

С саней соскочил подводчик, подошел ко мне и, разглядев, в чем дело, сказал, смутившись:

- Садись, солдат, подвезу.

Я взобрался на сани, груженные мешками с овсом... и с любопытством посмотрел на подводчика.

Ему было лет сорок, он был небрит, нос его был красен, щеки одутловаты, на голове у него была заячья шапка с ушами, а одет он был в [старую] форменную шинель - такую, какие носили раньше учителя и акцизные чиновники...

"Неужели это он? - подумал я. - Конечно, он!"

- С какого фронта? - спросил подводчик, завертывая толстую сигарку из махорки.

- С Южного, - ответил я ему, улыбаясь. - Александр Васильевич, это вы, а это я.

- Что значит "это вы, а это я"? - удивленно переспросил он, вынимая изо рта сигарку и поднимая на меня мутные маленькие глаза. - Го-о-ориков? вполголоса вскрикнул он. - Го-о-ориков! - Он снял толстую брезентовую рукавицу и протянул мне руку: - Ну, здравствуйте.

- Здравствуйте, - весело ответил я. - Как живы-здоровы, Александр Васильевич?

- Жив... - ответил он, - и жив и здоров... А вы, я как вижу, не совсем?

- Нет, и я совсем! Я тоже и жив и здоров, а это... - и я толкнул рукой костыль, - это пустяк, это временно.

Лошадь тихонько бежала по узкой дорожке через перелесок. Мы оба замолчали. Каждый из нас думал о своем.

Я вспоминал: тишину, черное пятно классной доски, форменный сюртук с блестящими пуговицами и монотонный, ровный голос: "В 1721 году по Ништадтскому миру Швеция должна была признать себя побежденной. Великая Российская империя приобрела устье Невы, Кронштадт и северное начало исторического пути, связывающего Европу и Азию..."

Он, вероятно, думал:

"В 1917 году Великая Российская империя была побеждена и завоевана людьми, приобретшими начало пути, который должен, по их замыслам, связать и Европу, и Азию, и весь мир в одно целое. И вот я, дворянин, коллежский советник Александр Васильевич Воронин, учитель, в порядке трудповинности посланный за овсом на вокзал, везу сейчас раненого большевика, и даже не большевика, а большевистского мальчишку, которого два года тому назад я учил тому, что Великая империя непобедима".

Он довез меня до самого дома и, хмуро кивнув головой на мое "спасибо", повез сдавать овес в упродком\*.

---

\* Упродком - уездный продовольственный комиссариат.

А я, с опаской посмотрев на окна нашей квартиры, зашагал во двор, радуясь тому, что окна заледенели и через них ничего не видать.

Стараясь не стучать, я поднялся по лестнице, осторожно отставил костыли в угол за шкаф и постучал в дверь.

За дверями послышался мелкий топот. И по пыхтенью я понял, что это Танюшка тужится, открывая крючок двери.

- Мама дома? - спросил я у не узнавшей меня сестренки.

- Нет! - ответила она, и испуганные глаза ее блеснули слезинками.

- А-ах... не-ет! - весело закричал я, подхватывая костыли и вваливаясь в комнату. - А-ах... нет! А ты без мамы и пускать меня не хочешь!..

Я сбросил сумку, шинель и, усевшись на кровати, обнял не совсем еще оправившуюся от испуга девчурку.

- Господи, Борька!.. Ну, Борька!.. Ну, какой ты ужасный солдат! Ну, как папа был солдат, так и ты солдат... - стрекотала Танюшка. И, целуя меня, она добавила протяжно и укоризненно: - Бо-о-орька! Борька! И что ты как давно не писал, а уже мама думала, думала. И я тоже думала, думала. Да вот погоди она сейчас с базара придет - все сама расскажет.

Я оглянулся. Все стояло на старом месте... и шкаф, и кровать, и старый треногий диван. Я посмотрел на стену - там было новое.

Прямо со стены глядел на меня большой портрет отца - в такой же, как у меня, серой папахе и в такой же шинели, и был тот портрет обведен траурной каймой из красной и черной материи.

- Это тебя на войне убили? - спросила Танюшка, осторожно дотрагиваясь пальцем до костыля.

- На войне! - рассмеялся я и сунул костыли под кровать.

- А у нас, Борька, горе какое! Ну такое горе! Такое горе! - И сестра грустно посмотрела на меня.

- Какое еще горе? - встревоженно спросил я, пододвигая ее к себе.

- А такое горе, что Лизочка уже умерла!

- Какая еще Лизочка? - спросил я, не понимая и перебирая в памяти всю веселую ораву моих двоюродных сестричек, живших в деревне неподалеку от Арзамаса.

- Как - какая? - И Танюшка подняла на меня печальные и изумленные глаза. - А наша-то Лизка - кошка такая. Помнишь? Да она-то еще один раз с печки прыгнула - и молоко опрокинула. Ну, вспомнил теперь?..

- Вспомнил, Танюша!

Пришла мать. Распахнув дверь, она остановилась. Внимательно посмотрела на меня. Поставила на пол корзину и, подойдя,

крепко обняла меня. Сбросила платок, холодными от мороза руками взяла мою голову, посмотрела мне в лицо и сказала дрогнувшим голосом:

- Похудел. Побледнел. А вырос-то, а вырос-то! Да встань ты с кровати! Дай я на тебя посмотрю.

- Мне, мама, неохота с кровати вставать, - отказался я. - Я бы, пожалуй... да у меня нога немного побаливает.

- Отчего побаливает? - И мать подозрительно посмотрела вокруг. - То-то я слышу, что йодоформом пахнет.

- А оттого побаливает, что еще не зажила. То есть уже зажила, да еще не совсем.

- Он с палками пришел, - вмешалась Танюшка, вытягивая из-под кровати костыли. - Как пришел, так под кровать их спрятал, а сам сидит!

- Ранен? - тихо спросила мать.

- Немножко, - ответил я. - Да ты не думай ничего, мама, все прошло...

Мать провела рукой по моей бритой голове, и с минуту мы просидели молча. Потом она быстро встала, сдернула пальто и бросилась на кухню:

- Бог мой! Да ты, должно быть, голодный!.. Танюшка, беги скорей в сарай - тащи угли! Сейчас самовар поставлю. И куда это я спички сунула?.. Борис, у тебя есть спички?.. Не куришь? Так, ну и хорошо! Да вот они!.. Ты бы сапоги снял и лег. Дай я тебя разую...

Вскоре зашипел самовар. Запахло с кухни чем-то вкусным. Входила и выходила из комнаты раскрасневшаяся у плиты мать. Ровно тикали стенные часы да колотила метелица в узорчатые морозные окна.

Легкая дрема охватила меня. Было тепло и мягко на старой кровати, укрытой знакомым стеганым одеялом. И вдруг показалось мне, что ничего не было - ни фронта, ни широких, донских степей, ни отряда, ни боев.

Будто бы все то же, что и раньше. Вот она, на стене моя полка с учебниками. Вот в углу выцветшая картина, изображающая вечер, закат, счастливых жнецов, возвращающихся с поля. Через открытую дверь виднеется кипящий самовар на клеенчатом столе - такой же неуклюжий, толстый, с конфоркой, похожей на старую шляпу, сбившуюся набок.

Я полузакрываю глаза... В углу возится Танюшка, тихо напевая древнюю баюкающую песенку - ту самую, которую я слышал от матери еще в глубоком детстве:

На горе, го-о-о-ре

Петухи поют.

Под горой, горой

Озерцо с водой.  
Как вода, вода  
Всколыхнулася,  
А мне, девице,  
Да взгрустнулося.

И мне уже совсем начинает казаться, что ничего не было, что все по-старому, по-школьному, по-давнишнему.

- Борис! - кричит мне мать. - И соседей кликать?.. Боря, тебе чай к кровати дать? Или ты сюда придешь?

Я вздрагиваю, и опять я вижу черно-красную каемку возле отцовского портрета, свою шинель, папаху на вешалке и слышу, как пахнут смолой костыли у моего изголовья.

Нет, все было.

После обеда, когда мать ушла на дежурство в больницу, а я, вдоволь насмотревшись и наговорившись, лежал в кровати, раздумывая о том, куда мне завтра пойти и кого повидать, в дверь постучали. И в комнату неожиданно вошел мой школьный товарищ Яшка Цуккерштейн. Он вошел улыбаясь, и в то же время видно было, что он старается казаться серьезным и солидным.

Яшка был на год моложе меня, следовательно ему было сейчас пятнадцать. Мы были с ним одноклассниками и дружили когда-то давно, еще до революции, до тех пор, пока не был приговорен к смерти мой отец, и до тех пор, пока ко мне не была прилеплена кличка "дезертиров сын".

После всего этого я разошелся со всеми товарищами, кроме Тимки Штукина. С одними, как, например, с Кореневым или с Федькой, у меня была открытая вражда, с другими - в том числе и с Яшкой - вражды не было, но был взаимный холодок и отчужденность.

Но так как все это было очень давно и так как с тех пор изменилось многое, то я хотя и удивился, но и обрадовался Яшкиному приходу.

- Здравствуй, Гориков, - сказал он, называя меня по фамилии.

- Здравствуй, Цуккерштейн, - в тон ему ответил я. - Садись! А я устал с дороги и полежу немного.

- Что ты! Что ты! Конечно, лежи! - быстро проговорил он, поглядывая на мою ногу, под которую заботливая мать перед уходом положила подушку. - А мы узнали, что ты приехал, - продолжал он, усаживаясь на стул и держа в руках форменную фуражку с сорванной кокардой. - Вот ребята и говорят мне: "Пойди, Яшка, узнай: как он, откуда, надолго ли?.. Ну, вообще, говорят, пойди и узнай..." Вот я взял да и пошел.

- И хорошо сделал! - ответил я, не совсем понимая только, какие это именно ребята могли попросить Яшку узнать обо мне, потому

что с отъездом Тимки Штукина на Украину никаких школьных товарищей у меня не осталось.

- Ты с фронта приехал? - спросил Яшка.

- С Южного, - ответил я, внимательно разглядывая прежнего товарища и удивляясь тому, как вырос и возмужал он за эти полтора года.

- Ты был ранен?

- Да, в бок и в ногу!

- Ты надолго приехал?

- У меня отпуск на три недели...

- А потом?

- А потом опять на фронт...

- На какой?

- Не знаю! На какой пошлют, фронтов много.

Разговор не завязывался никак. Он спрашивал. А я отвечал неохотно. И все-таки, несмотря на все это, несмотря на то, что нам обоим хотелось попросту поговорить, - какая-то неуловимая черта, начинавшаяся еще где-то далеко в прошлом, лежала между нами.

- Ребята просили! Если ты сможешь, то приходи завтра к нам. У нас завтра в семь часов вечер в клубе. Там много наших встретишь - они будут рады.

- Цуккер... - спросил я, - вот ты мне все говоришь: "Ребята послали, ребята просят" - какие это ребята? Ну, например, кто?..

- Как - кто! Васька Бражнин, Васька Суханов, Гришка, Федор... я, Пашка Коротыгин - ну, вообще всё наши одноклассники, комсомольцы...

- Как? - Я повернулся так быстро, что нога моя соскочила с подушки и больно и сладко заныла. - Как ты сказал? Комсомольцы! Разве Гришка комсомолец?.. Разве ты, Яшка, комсомолец?..

- А ей-богу же, Борька, комсомолец! - обиженно и искренне вскричал Яшка, впервые называя меня по имени и так же по-прежнему, по-мальчишески оттопыривая губы, за что его и прозвали в школе Яшка-теляшка. - Уж скоро полгода, как комсомолец... Да хочешь, я тебе билет покажу?

- Ой-ой-ой-ой! - захохотал я, вырывая и отбрасывая его фуражку, которую он без толку крутил в руках. - Ой, и чудак же ты, Яшка! Чего же это ты мне просто не сказал? А то сидит, как китайский посол, и тянет что-то... "меня послали... тебя просили...". Сел бы да и говорил просто!

- А черт тебя знал, Борька, как с тобой разговаривать! - откровенно сознался Яшка. - Твое, можно сказать, такое положение, да еще с фронта, да еще раненый! Мне ребята говорят: "Гориков приехал, сходи ты, Яшка". Я спрашиваю: "Почему я? Пускай Гриш-

ка идет или Васька". Васька говорит: "Мне что, я схожу. А только Яшке лучше, он и раньше у него бывал". Ну, я и пошел...

Все прошло. Исчез холодок. Разговор стал простым и теплым - таким, какой может быть только между двумя давно не видавшимися после ненужной и случайной ссоры товарищами.

Я мало рассказывал, больше спрашивал. Потом мы начали вспоминать:

- А помнишь?

- А помнишь?..

Много таких светлых и коротких "помнишь" накопилось у двух ребят за время дружбы, которая началась чуть ли не с шестилетнего возраста.

Он рассказывал мне о моих школьных товарищах и о врагах, о том, кто из них учится, кто уехал, кто вступил в комсомол. И я с огромным вниманием и радостью слушал о том, что Кольку приняли было, да вскоре исключили. А что Васька оказался хорошим парнем. И что другой Васька тоже в комсомоле... И что Петька подал заявление...

[Ко всему тому, что я был рад за них, как за ребят, которые пошли по хорошей дороге, примешивалось особое чувство - гордости и волнения за то, что я оказался прав и что моя дорога, которую многие когда-то не понимали и даже осуждали, оказалась настоящей дорогой, к которой пришли и они.]

И только один раз я нахмурился. Это когда я узнал, что Федька Башмаков тоже в комсомоле - и, мало того, один из первых вступивших в комсомол.

Это больно задело меня. До сих пор еще во мне жила глухая, крепкая вражда к Федору.

И хотя я не сказал ничего об этом Яшке, но он и сам почувствовал это и перевел разговор на другое.

Яшка долго еще просидел у меня, и когда он уходил, то у обоих у нас горели щеки, глаза блестели молодым, свежим задором. Мы условились встретиться завтра на вечере в клубе укома...\*

---

\* Уком - уездный комитет, в данном случае - комсомола,

Был последний вечер первой недели, которую я провел в Арзамасе.

Я, Васька Бражнин, Яшка и еще две наши девчонки сидели на диване в клубе укома. Яшка только что сдал Ваське ночное дежурство. Васька нацепил на пояс огромный "Смит и Вессон" и деловито осматривал принятое под расписку оружие: четыре винтовки разных систем и две гладкоствольные берданки.

Две девчонки - Маруся и Зойка - возвращались домой из госпитальных барачков, что за городом, завернули на минутку передох-

нуть да и застряли в клубе. А я зашел повидать Сережу Шарова, председателя укома. Но мне сказали, что он все еще на вокзале.

Ночью мимо Арзамаса должен был пройти на восток эшелон с муромским рабочим батальоном, и наши комсомольцы еще с обеда грузили в вагоны фураж, чтобы батальон мог, не задерживаясь, катить дальше на фронт. Поэтому-то в клубе сегодня было так спокойно и тихо.

Васька окончил щелкать затворами и потащил винтовки в деревянную стойку. Гнезд в стойке было восемнадцать, а винтовок - всего шесть, и чтобы они не ютились в одном уголку, он расставил их вдоль всей подставки - через два гнезда в третье.

- Васька! - сказала Зойка. - Ты бы хоть печь затопил. Смотри-ка, холодина какая...

- Затоплю, - ответил Васька и подошел к телефону. - Штаб охраны города! - попросил он, отворачиваясь, чтобы нам не было видно его лицо. - Это штаб? Дай дежурного по гарнизону... Дежурный по гарнизону?.. Говорит дежурный по комсомолу Василий Бражнин. Дежурство принял. Налицо шесть винтовок и сто два патрона... С 10 вечера до 8 утра... Ночуют в комсомоле четверо...

Он отрапортовал это, потом спросил уже совсем обиженным голосом:

- Это ты сегодня дежуришь? Слушай, я ведь тебя еще в прошлый раз просил... Ну неужели у вас к итальянской [винтовке] не найдется хоть десяток патронов?.. Ну да, для винтовки Гра. Поищи, пожалуйста, а то у нас на нее всего одна обойма...

Он повесил трубку и подошел к большому синему плану города, висевшему на стене, взял листок с адресами и стал что-то рассматривать.

- Васька! Затопи печку, - повторила Зойка, укутываясь покрепче в пальто и подбирая ноги на диван.

- Затоплю, - ответил он, тыкая пальцем в расчерченный на квадраты план и бормоча вслух: - Первое отделение... Анохин, есть... Второе - угол Ореховской и Ильинской - Колька, есть... Слушай, - спросил он Яшку, - почему у нас по боевому расписанию выходит, что... Голубев, который живет на Новоплотинной, должен бежать черт-те куда - на Попов переулок к Шанину и к Ильину? А Конопляников, который живет... на Поповом, на Большую к Ведеркину и Самойлову - то есть под самый бок к Голубеву? Тоже... расписание называется!

- Васька! Затопи печку, - повторила Зойка. - Как твое дежурство, так ты все с винтовками, да с планами, да с сигналами, а в комнате уже мерзнут...

- Затопи, Васька! - поддержала Зойку молча сидевшая Маруся. - Что ты там мудришь? Какая тревога? Восстание ожидаешь, что

ли?..

- Дура! - серьезно, но не сердито ответил Васька и, обратившись ко мне, пояснил: - Восстание не восстание, а когда в прошлом месяце вызвали на охрану спиртового завода в Ломовку... то три часа прошло, пока половина собралась. Вот тебе комсомольская дружина... Сейчас затоплю, - сказал он, доставая из угла большой топор. - Дров только еще наколоть надо...

Он вышел во двор. И через минуту послышался сухой треск раскальваемых поленьев.

- Затопит - тепло будет! - сказала Зойка. - Я и так намерзлась сегодня. Веселое дело - выбрали нас с Муркой в санитарную комиссию. Пришли мы в госпитальные бараки. На складе грязь, одеяла - как половики, простыни тоже.. "Что ж это, говорим, товарищи! Да ведь это мы можем и акт составить".

А там только рукой махнули: "Составляйте, говорят. Прислали нам все это добро из расформированного полевого лазарета. А прачек нет... тут [их] по крайней мере двадцать нужно... А у меня всего и по штату шестеро, а налицо четверо. Вы бы, вместо чем акты составлять, помогли как-нибудь..."

- А как поможешь? - Тут голос у Зойки стал унылым и жалобным. - А как поможешь? Вот... собрали мы с Муркой девчат одиннадцать человек... да сегодня шестой день и стираем! Надоело... ужас как. Она помолчала, подула на застывшие руки и добавила:

- Я бы уж лучше на фронт пошла... А ты как, Мурка?

- А что там делать? - подумав немного, спросила Маруся.

- Как - что? Воевать!

- Разве что воевать! - улыбнулась Маруся [и как-то хитро посмотрела на подругу].

Тут они обе хитро переглянулись и ни с того ни с сего рассмеялись.

Вошел Васька и бухнул возле печки большую вязанку расколотых сосновых поленьев.

Со станции позвонил Сережа Шаров и сказал, что погрузка окончена и ребята идут в город.

Вскоре запылал огонь, сразу стало теплее и светлее. Мы подвинули диван к печке.

- Расскажи, Борис, что-нибудь про фронт! - попросила Зойка. - Ну вот, например, идет ваш отряд - вдруг... Ну, и так далее...

- Как это, Зойка, и вдруг... и так далее? - удивился я.

- Обыкновенно как... Как всегда рассказывают. То-то и то-то... потом вдруг так-то! И так-то! Так-то и так-то. Вдруг еще как-нибудь.

Все рассмеялись.

- Дуреха! - снисходительно вставил подсевший к нам Васька. - Ну, спросила бы про бой или про атаку, ну там про фронтальную или про фланговую... - (Васька спокойно и солидно произнес эти два слова.) - А то "вдруг да вдруг..." На военном кружке - так их нет! И потом и спросить-то у человека толком не умеют. "Вдруг да вдруг".

И Васька посмотрел на меня, как бы говоря: "А что с них спрашивать?.. Разве же они понимают!"

Однако, по правде сказать, если бы я стал рассказывать, то мне много легче было бы рассказывать по Зойкиной схеме: вдруг - так, а вдруг - этак, чем описать картину "фронтальной или фланговой" атаки. Потому что я и сам не знал, когда у нас была фронтальная, когда фланговая, когда еще какая. И, во всяком случае, если они и были, то уж никак не похожи на те, о которых вычитал Васька в старых уставах... Однако я хитро подмигнул ему - что, конечно, мол, мы-то понимаем, - но рассказывать отказался, сославшись на то, что надоело и расскажу когда-нибудь потом.

- Ты, Борис, храбрый? - спросила Зойка.

- Очень! - ответил я

- Ну, какой храбрый? Есть же все-таки и храбрей тебя?

- Мало! - коротко ответил я [стараясь не улыбнуться].

- Это хорошо, что ты "очень"! - задумчиво сказала Зойка. - А вот мы с Маруськой - ой, какие трусихи!..

Тут девчонки опять переглянулись и снова дружно рассмеялись.

- Домой бы идти надо, - сказала Зойка, - и неохота. А нужно еще кое-что почитать, выспаться. А завтра у нас в десять кружок. [Бебеля читаем.] "Женщина и социализм" разбираем... Ты как, Борис, смотришь на женский вопрос? Тебе все понятно у Бебеля?..

Зойка подтолкнула валенком высунувшееся из печи шипящее полено и, повернув раскрасневшееся от огня лицо, посмотрела на меня. И я смутился. Дело в том, что на женский вопрос я как-то еще никак не смотрел, да и фамилию-то Бебеля услышал только что впервые.

Я хотел как-нибудь уклониться от ответа.

Зойка сразу догадалась об этом. Она укоризненно покачала головой, сбросила на спинку дивана подбитый черной овчиной полушубок и спросила опять:

- Ты Карла Маркса читал?.. Нет?.. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А еще коммунист!

- Ему некогда было читать! - вступился за меня Васька. - На фронте не до чтения... Как там загрохочут двадцать батарей... так тогда не до чтения.

- Конечно, если двадцать, то не до чтения, - покорно согласилась Зойка, - какое тогда чтение.

Тут уж я рассердился не на Зойку, а на Ваську. Никогда я не слышал, как грохочут двадцать батарей. Две-три - еще может быть, а никак не двадцать. Кроме того, не читал я, уж конечно, вовсе не из-за батарей и вовсе не потому, что было некогда, или потому, что не попадались книги. Времени свободного было сколько хочешь; не одну, так другую книгу тоже достать было можно. А не читал я просто так - ну, просто не читал, да и все.

- Прочитаю еще, - хмуро ответил я. - Соберусь как-нибудь и прочитаю.

- Тебе обязательно надо, - серьезно поддержала Зойка. И, опять хитро переглянувшись с Марусей, задорно добавила: - Мы-то еще комсомольцы, а ты ведь уже коммунист.

Зашумело, загрохотало на лестнице, запахнулась дверь - и в клубах пара, осыпанные инеем, с побелевшими от мороза бровями, ввалилось в комнату около десятка человек. Они, точно по команде, оглушительно затопали, стряхивая с сапог и с валенок рыхлый снег, посбрасывали полушубки, шинели, куртки; некоторые скинули обувь и задвигали стульями, пробираясь к огню...

- Ну и мороз, Борька! - сказал Сережа Шаров, присаживаясь рядом со мною и бесцеремонно оттискивая в угол дивана Зойку. - Ну и мороз! Три вагона нагрузили... Только последний тюк бросили, как прибежал комендант:

- Ну, как, ребята?

- Готово! - говорю.

- Вот, - говорит, - выручили. А мне сейчас позвонили, что эшелон уже из Мухталова вышел. Через час у нас будет. Вы бы, - говорит, - подождали: может, приветствие какое-нибудь, ну, там митинг... И они вам спасибо за фураж скажут.

Как услышали наши ребята про приветствие да про митинг (какое там приветствие... какое там спасибо...) и один за другим ходу: кто в барак греться, кто в дежурку.

- Ну, - говорю, - товарищ комендант, приветствие вы и сами передайте... а спасибо нам ихнего не надо. И то сказать, с обеда мешки ворочали. Какое уж тут спасибо... Зойка! - спросил он, оборачиваясь к притихшим девчонкам, тебя сегодня в укоме Васильев ругал? Ты прикреплена к приюту? Скажи, пожалуйста... а ты была хоть один раз в детраспределителе? Нет? Ну, и паскудная же ты, я скажу тебе, девка.

- Сереженька! - уныло и присиротевшись начала Зойка. - Солнышко ты мое любимое, золотой мой!.. Я в госпитале... сейчас занята? Занята! А до госпиталя я каждый день на вокзал три километра - в распределители пленбежа бегала? Бегала! А до

пленбежа - на продразверстку в Пановскую волость... с Анохиным ездила? Ездила. Ой, как люблю я тебя, дорогой мой! - лукаво закончила она, обнимая Сережку за шею.

- Ну-ну, любишь! - заворочался Шаров, разжимая своими крепкими лапами ее руки. - Да что ты прихватилась, как пиявка. - Он отсадил ее в угол дивана и сказал, чуть запыхавшись: - Балаболка! Я так и сказал! "Не разорваться же ей". А в приют мы завтра Ленку пошлем.

- Ленка не пойдет! - вставила молчаливо гревшаяся у огня Маруся.

- А кто спрашивать будет? - удивился Шаров. - Постановим - значит, пойдет!

- Ленка не пойдет. Она на днях замуж выходит и к мужу в вокзальный поселок переедет. А оттуда далеко...

- Замуж?.. Далеко?.. - переспросил Шаров, и на лице его появилось такое неподдельное негодование, как будто бы ему сообщили не о том, что Ленка замуж выходит, а о том, что Ленка уходит... в белогвардейскую банду. - Ну ладно! - добавил он уже сдержанно. - Это мы еще обсудим, кто замуж, а кто куда!.. Бориска! - негромко сказал он, оборачиваясь ко мне. - Пойдем в другую комнату, нам ведь с тобою поговорить нужно...

\* \* \*

Сереже Шарову было семнадцать. Он был на год старше меня. Раньше я его не знал совсем. (Перед революцией я мельком слышал о нем, когда в слободе он пытался [организовать] Союз молодежи III Интернационала, - но это уже было перед самым моим побегом {на фронт. - Ред.}).

Он был из беженцев - откуда-то из Белоруссии. Отец его - солдат - был в плену, мать работала на камвольной фабрике, а сам он учился во время войны в столярном отделении ремесленного училища.

У него были умные озорные глаза, черные жесткие волосы, и через левую щеку его тянулся длинный ножевой шрам, старый след от буйных забав, когда по свежему льду дрались парни и мальчишки из Выездной слободы, что за Тешею, с арзамасскими мастеравыми: корзиночниками, бондарями, колесниками, что жили на низу, на болоте, у моста.

- Ты ведь не куришь, - сказал Сережа, усаживаясь и завертывая козью ножку. - А я так давно смолю... еще мальчишкой. Отец поймает, вздерет... убежишь за сарай и еще слаще покажется... Ты что сегодня - с одним костылем?.. Проходит?.. Ну, и хорошее дело. Когда уезжать будешь - мы вечеринку устроим - к тому времени сплясать можно будет.

Все это говорил он по-дружески. И вдруг озорные глаза его потухли, он закурил, сел напротив меня и спросил просто:

- Что такое у вас, Борис, с Федькой?

- С Федькой у меня ничего нет, - ответил я, насторожившись и догадываясь, к чему он клонит разговор.

- Ничего?.. Вот это-то нехорошо, что ничего. Ну, подумай сам: вы оба комсомольцы. Хотя ты и коммунист - но ведь ты еще комсомолец. Ну, оба из одной организации. Оба хорошие... парни. И вдруг враги. И до чего дело доходит... до чудного, право. Мало того, что не разговариваете... Так нет... Федька... сунется в клуб - видит, что около тебя ребята собрались - повернет и уйдет...

1931

#### ПРИМЕЧАНИЯ

В 1929 году в журнале "Октябрь" впервые были напечатаны главы из повести "Школа" под названием "Обыкновенная биография". В 1930 году в поселке Кунцево под Москвой Аркадий Гайдар приступил к работе над продолжением "Школы", дав новой повести то же название - "Обыкновенная биография". Поначалу писалось легко, потом работа застопорилась, и он совсем отложил рукопись.

Впервые главы из повести "Обыкновенная биография" с некоторыми сокращениями были опубликованы в сборнике "Жизнь и творчество А.П.Гайдара" (Москва, Детгиз, 1951).

Т.А.Гайдар